

A romantic couple in formal wear. The man is wearing a dark tuxedo with a white shirt and a dark bow tie. The woman is wearing a bright red, lace-trimmed dress. They are close together, with the man's hand on the woman's shoulder. The background is dark with faint, stylized text in various colors (blue, gold, white) that appears to be from a story or a book.

ВЕРА КОЛОЧКОВА

СИНДЕРЕЛЛА

без хрустальной туфельки

Вера Александровна Колочкова

Синдерелла без хрустальной туфельки

Серия «Секреты женского счастья»

текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6351267

*Колочкова Вера Синдерелла без хрустальной туфельки: Эксмо; Москва;
2013*

ISBN 978-5-699-67694-1

Аннотация

После гибели отца и отъезда матери жизнь Василисы превратилась в кошмарный сон. Девушка выросла в достатке и любви, но после окончания школы ей приходится устроиться на тяжелую работу – посудомойкой в кафе, чтобы хоть как-то обеспечить существование своей маленькой семьи: двенадцатилетнего брата Петьки и парализованной после инсульта бабушки. Впрочем, как Васька ни старается, денег им все равно не хватает. Остается единственный выход – сдать одну из комнат в трехкомнатной квартире. Так в их доме появляется симпатичный и положительный во всех отношениях квартирант Саша...

Книга также выходила под названием «Прерий душистых цветов».

Содержание

ЧАСТЬ I	4
1	4
2	11
3	19
4	25
ЧАСТЬ II	32
5	32
6	39
7	53
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Вера Колочкова Синдерелла без хрустальной туфельки

ЧАСТЬ I

1

Ей снился запах. А еще – зеленая лужайка на даче, белая бабушкина шляпа и солнечный зайчик, пляшущий на боку медного таза с яблочным вареньем, горячий и пряный дух которого настырно проникал в ее сон, щекотал ноздри, и даже во сне слышалась-ощущалась легкая волна корицы, которую бабушка всегда зачем-то добавляла в яблочное варенье. Выплывать из сна, из запаха вовсе не хотелось. Хотелось, наоборот, глубже зарыться в одеяло, спрятать голову под подушку и еще хоть самую малую капельку пожить той прежней чудесной жизнью, когда была дача в Сосновке, когда бабушка была здорова и варила себе в удовольствие варенье в медном тазу, наклоняясь к нему мягко свисающими полями большой белой шляпы...

И все же надо вставать. Если полежать в этом счастье пять

минут, то Петьке придется идти в школу без завтрака. А если полежать еще пять минут, то придется ему идти и во вчерашней несвежей рубашке, потому как погладить чистую с вечера сил не нашлось – свалилась спать как убитая. Конечно, с вечера – это громко сказано, потому что «вечер» начинался для нее в три часа ночи, после возвращения с работы. Да уж, работы... Если так можно назвать двадцатичасовое стояние у мойки на кухне большого кафе, да еще под грохот незамысловато-популярной музыки из зала, да еще под противно-прогорклый, но все равно кажущийся на голодный желудок таким аппетитным запахом жарящихся на дешевом масле размороженных отбивных и бифштексов. Но зато «сутки через сутки», как называл все это безобразие Сергунчик, шустренький директор дешевого и популярного в округе кафе. Зато сегодняшние «сутки» она проведет дома, с бабушкой и Петькой, и наверстает свое необходимое домашнее присутствие...

Василиса откинула одеяло и с силой сбросила ноги на пол. Они гулко бухнули тяжелыми пятками о тоненький матерчатый коврик, не желая никоим образом функционировать с оставшейся лежать на кровати второй половиной тела. Она, эта вторая половина, сопротивлялась до последнего свершающемуся над ней насилию. А чего еще от нее, бедной, можно ожидать после жалкого трехчасового ни-сна-ни-отдыха, да еще так досадно разбавленного дразнящим горячим, пришедшим из прошлого яблочным духом... Уперев

кулаки в матрац, она оторвала наконец от подушки голову, встала с постели и, пошатываясь, пошлепала босиком в ванную, по пути с силой постучав кулаком в Петькину дверь. Ничего-ничего, сейчас и завтрак будет, и рубашка, и бабушкин утренний положенный туалет с железной уткой, мокрым полотенцем и добрым словом в поддержку...

Уже через полчаса они сели завтракать. Петька, пыхтя, притащил на самодельной грубой каталке, сделанной из старенького легкого кресла, бабушку из ее комнаты, героически вздохнул над тарелкой с порцией серой овсянки и щедро плеснул в свою чашку с чаем побольше молока – подсластил себе пилюлю немного...

– Вась, а когда мы стихи Колокольчиковой сочинять начнем? – деловито осведомился он у сестры, доедая свою порцию каши. – Который уж день обещаешь!

– Ой, Петь, ну вот давай сегодня вечером, а? Вот сегодня вечером – обязательно, слово даю! – виновато протянула в его сторону Василиса.

– А что, твоя Колокольчикова без стихов никак не проживет? – с улыбкой обратилась к внуку Ольга Андреевна. И, повернувшись к Василисе, тихо засмеялась: – Смотри, Васён, какие нынче пятиклассницы пошли – без стихов к ним даже и не суйся...

– Да, бабушка... – вздохнул в ответ Петька мечтательно. – Колокольчикова, она такая...

– Ну, что ж. Наверное, это и хорошо. Наверное, и правиль-

но. Не все еще потеряно в этом мире, значит...

– Ой, бабушка, ты хочешь сказать, в ваше время тоже девочкам стихи сочиняли, что ли? – удивленно уставился на нее Петька. – Если даже и сочиняли, так, наверное, про ерунду всякую! Когда это было-то, сто лет назад...

– Ну уж, скажешь, сто лет, – протянула обиженно Ольга Андреевна, усмехаясь потихоньку, – обидно даже и слышать от мужчины такое...

Собственно, Ольга Андреевна и в самом деле не была совсем уж бабушкой как таковой, если рассматривать это к ней обращение как показатель женского возраста. Конечно, для внуков своих, Петра и Василисы, по родству она числилась бабушкой, но выглядела еще крепко и очень даже моложаво, несмотря на перенесенный год назад сильный инсульт, который прошел по ней, как она сама считала, издевательски обидно: крепость эту самую да моложавость оставил, а ноги практически умертвил. Лучше б, конечно, наоборот, да что теперь поделаешь. Выбирать не приходится. Еще за то спасибо, что жива осталась. Когда сын ее Олег, отец Петеньки и Васены, погиб так нелепо от руки нанятого киллера, тоже думала, жить не станет. Наверное, и всякая мать так думает, единственного сына теряя... Но ничего, выжила. Тогда хлопоты тяжелые да забота о судьбе внуков согнуться ей не позволили, потому что судьба со смертью ее сына и их отца совершила совсем уж крутой поворот – круче и некуда – и разделила всю их жизнь на прошлую и нынешнюю – вот

эту, убого-безысходную. А огромная квартира в центре города, три дорогие иномарки, шикарная дача в Сосновке, Василисина гимназия до восьмого класса с пятью языками и Петенькина престижная начальная лесная школа остались в прошлом, в болезненных воспоминаниях. А после похорон Олеговых выплыли, наехали на них огромнейшие его долги, за которые его и убили, говорят. И откуда они вообще взялись, эти долги, непонятно было, да и не вникал особо в это никто. И то, повезло еще, можно сказать, что осталась им эта старая трехкомнатная квартира, которую за долги не отобрали потому только, что не приватизирована была – руки в свое время не дошли, и в которой им всем и пришлось вскорости поселиться. Да еще жена Олега осталась, красавица Аллочка, совершенно не приспособленное к бедной жизни создание, бросившее Ольге Андреевне через год после смерти мужа детей на руки и отъехавшее по случаю срочного замужества через объявление в Интернете в замечательный германский город Нюрнберг. Вот тогда с Ольгой Андреевной, после Аллочкиного коварного бегства, этот инсульт и приключился. Не вынес организм обиды. И даже и не само Аллочкино бегство ее доконало, а то, как обманула невестка жениха-немца: в анкете в графе о наличии детей поставила аккуратненький прочерк, тем самым перечеркнув не только их присутствие в своей жизни, но и всю свою прошлую жизнь с ее сыном тоже как бы этим самым перечеркнув...

Так и живет теперь в своем Нюрнберге, будь он неладен.

А сюда, к ним, письма шлет. А ей туда ни писать, ни звонить нельзя – ни-ни. Вдруг ее немец узнает, что обманула она его, про отсутствие детей наврав, и выгонит с треском из своего Нюрнберга... И ни о какой настигшей их здесь убогости-безысходности Аллочка не знает: ни об insulte ее проклятом, ни о безденежье их нынешнем, ни о работе Васенькиной тяжелой «сутки через сутки». Думает, наверное, по-прежнему ее строгая свекровка в чиновниках больших сидит да судьбу внуков по своему разумению устраивает. Да и то, бог с ней. Пусть там и живет – все равно толку от нее никакого. Да если б не обезножела так не вовремя, неужель бы она и в самом деле внуков своих не подняла? Еще как бы подняла, тут и разговору нет...

Ольга Андреевна практически всю свою сознательную жизнь провела в крупных чиновниках, проработав в казначействе начальницей контрольно-ревизионного отдела, государственную казну на этом важном месте своей грудью, можно сказать, тщательно охраняя. Дамой она была бескомпромиссной, честно-въедливой и высокооплачиваемой. То есть исключительно вредной и никаким образом неподкупной. За ее принципиальной спиной всю жизнь казначейское начальство и пряталось, и выставляло ее впереди себя гордым знаменем, показателем абсолютной чиновничьей честности да бескорыстной порядочности – смотрите, мол, и мы все точно такие же... А случилось с ней горе, и отвернулись все друженько. Она и не обиделась. Знала, что в среде чиновничьей

так и происходит всегда. Сошел с рельсов, и валяйся на обочине, и не вспомнит о тебе никто, потому что некогда: игры чиновничьи – это вам не корпоративные какие-нибудь хитрые отношения, это своего рода ходьба по канату тоненькому: подтолкнули тебя слегка, и летишь под откос...

– Бабушка, ты чего вздохнула так горестно? – повернулась к Ольге Андреевне от мойки Василиса. – Вспомнилось что-то?

– Да так, Васенька, ничего... – встрепенулась Ольга Андреевна. – Ты меня подвези-ка лучше к воде, я сама посуду помою. А то не намылась ты ее на работе за двадцать-то часов!

– Ой, да ладно... – легко махнула рукой Василиса и вздохнула украдкой. – Подумаешь, три тарелки да три чашки...

Да уж, подумаешь... Это сказать легко и рукой махнуть легко, а стоять почти сутки над нескончаемыми жирными тарелками в горячем пару моечной – это уже ой как не подумаешь. Иногда и в глазах серо-мутно становится, и тошнота подступает от усталости, и хочется изо всех сил не надраивать эти проклятые тарелки мыльной рекламно-прекрасной жидкостью, а колотить их об пол столько, сколько сил хватит!

Только бабушке знать об этом вовсе даже не обязательно. Бабушкину нервную систему надо оберегать, охранять самым строжайшим образом от любых стрессов и переживаний, иначе она, эта ее нервная система, так и не образумится никогда, и не даст никакой надежды на бабушкино от инсульта выздоровление, на вожденную положительную динамику в убитых проклятым параличом мышцах. Явления этой самой динамики они с Петькой и приходящей к ним в дом через день массажисткой Валерией Сергеевной давно ждут изо дня в день, как чуда, как спасения, как благодати Божьей...

В кафе Василиса устроилась сразу после выпускных школьных экзаменов, буквально на следующий день, потому что бабушкина болезнь к тому времени успела съесть все их денежные скромные припасы, а массаж, по утверждению Ва-

лерии Сергеевны, никак прекращать было нельзя, хоть земля с небесами треснут да разверзнутся в одночасье. Так что с работой Василисе, можно сказать, повезло. Ее сначала официанткой взяли, и два месяца она проходила по большому залу кафе в нелепо сидящем на ее крупно-несгибаемой фигуре легкомысленном фартучке с оборочками и белой заколке-короне в волосах, как того требовали дурацкие правила, ностальгически привнесенные из прежней жизни хозяином кафе, нестареющим вертлявым шустрячком Сергеем Сергичем, в народе называемым просто Сергунчиком. Сколько было ему лет на самом деле, никто толком не знал. Может, сорок, может, меньше. Может, шестьдесят, может, больше. Был он без дела шумноват, очень прост и нахален – рубаха-парень такой, весело и со вкусом стареющий.

Василису Сергунчик сразу невзлюбил за непонятную отстраненность от коллектива, молчаливо-гордую сосредоточенность и за раздражающе правильно поставленную речь. А после того, как пару раз на нее пожаловались посетители, и вовсе перевел в судомойки. Оказалось, не понравилось посетителям, как она у них заказ принимает. Сказали, будто дискомфортно им отчего-то. Будто они не в дешевой кафешке свои отбивные заказывают, а где-нибудь в Виндзорском замке пристают униженно к ее высочеству с глупостями всякими недостойными...

Так она и оказалась в судомойках. А что делать – выбора у нее не было. Зато рядом с домом – только дорогу перейти,

нырнуть в спасительную арку, потом во двор, и все. И она дома. И с одеждой зимней можно ничего не придумывать, голову себе не морочить – все равно купить не на что. Зато следующий день после этого ада – свободный. День-рай. День с бабушкой, с Петькой, с самой собой. Да и ад этот, если разобраться, не совсем уж и ад... Василиса к нему попривыкла как-то. Опять же, можно себя не насиловать, не «отслеживать лицо», как Сергунчик говорит, не улыбаться по-официантски мило и подобострастно-приветливо – все равно не получается у нее. А можно, наоборот, отвернувшись к грязным тарелкам от всего этого суетливо жрущего и пьющего безобразия, распрямить спину, гордо вытянуть шею и даже представить на себе чего-нибудь необыкновенное – малиновый берет, например, с большим пером: кто это там, мол, в малиновом берете с послем испанским говорит... А можно и в прошлую жизнь нырнуть хоть ненадолго. Надолго нельзя – потом обратно возвращаться тяжело очень. А на каких-нибудь полчаса вполне даже можно – вспомнить про папу, маму, про прежнюю свою школу... Очень хорошая была школа. Она тогда по наивности полагала, что все школы только такими и бывают, в которых учителя внимательны, заинтересованны и доброжелательны, что свежавыжатый сок на перемене, стильно-удобная униформа и физкультура в бассейне – обязательная, для всех одинаковая школьная атрибутика. И очень была удивлена, когда обнаружила вдруг, что в следующей школе, в которую ей пришлось идти после

катастрофически быстро свершившегося сиротства, все совсем, совсем не так... Странно и дико было ей на первых порах наблюдать, как кричит на учеников задерганная, плохо одетая учительница, как злорадно-торжествующе посматривают в ее сторону девчонки-одноклассницы, как ругаются они так, что уши режет, со взрослым смаком через каждое слово, как быются гордо и в одиночку редкие умники-отличники, пробивая себе через тернии дорогу к хорошему аттестату... Так и не смогла она привыкнуть за два года к новой школе, и не подружилась ни с кем, и аттестат получила средненько-плохой, четверочно-троечный. И не в том даже дело было, что интерес к учебе пропал. Да и не пропадал он никуда, просто трансформироваться не сумел удачно. Не хотела она так учиться, и все тут. Да и времени особо не было опомниться, выскочить из круговерти горестных событий...

А вот у Петьки, слава богу, гораздо мягче все переустройство жизни произошло. Его вообще в школе любят, и друзья какие-никакие появились, и даже влюбиться уже успел в одноклассницу, в Лилию Колокольчикову. Василиса, правда, эту Колокольчикову пока не видела, но за Петьку все равно страшно рада была. Побеивались они с бабушкой за него поначалу – он мальчишка мягкий, искренний, открытый, к миру жестокому всей душой наивно повернутый... А он ничего, молодцом оказался, все по-взрослому, по-философски принял. И даже бегство материнское. Хотя, может, и страдает потихоньку. Даже и наверняка страдает, не признается

только. Когда от матери письмо очередное приходит, запирается в своей комнате и читает его там подолгу, и плачет, наверное. Он вообще очень на мать похож, и характером, и внешностью ангельской – те же распахнутые миру светло-зеленые глаза, те же пушисто-вьющиеся, с золотым праздничным отливом густые волосы...

Зато Василисе материнской красоты не досталось ни капли. Высоким ростом и некоторой неуклюжестью она напоминала давно вышедшую из формы, слегка поправившуюся манекенщицу, которую, как ни бились, так и не научили ходить правильно, потому как, несмотря на прямую спину и гордо вытянутую шею, она упорно косолапила при ходьбе и некрасиво размахивала руками и была совсем не ухожена лицом. В общем, не была сексуальной, не получалось у нее этого старательного выпячивания наружу плотской красоты. Бог таких талантов не дал. Но в то же время было в этой девушке что-то особенное, может, более основательное, чем пресловутая сексуальность, что заставляло на ней задержать взгляд. Пусть не для того, чтобы полюбоваться ею по-мужски одобрительно, но все же останавливало. Сила, может, какая ее внутренняя. Сила отцовской основательно-крепкой породы – с широкой мужской костью, высоким ростом, с мощным разворотом плеч, с грубо, даже топорно вырезанными чертами лица, будто природа, ее создавая, торопилась куда-то и недозавершила-недоделала это тонкое дело: глаза прорезала глубоко, а форму им придать поленилась, оставив

вместо нее узкие монгольские щелочки, и нос тоже будто в три приема слепила, и над губами не особо пофантазировала – очертила резко, по-мужски угловато, без особых женских изгибов-прелестей. Какое-то монголо-европейское лицо получилось. Совсем без женского мило-кокетливого обаяния да очарования, но и далеко не простецкое. Отцовское, в общем, лицо. Василису устраивало. Хотя мама, она помнит, частенько вздыхала, на нее в детстве глядячи, и приговаривала чего-нибудь эдакое, вроде: учишься хорошо, Васенька, тебе обязательно надо умненькой быть... Сама-то она всегда в писаных красавицах числилась, в любом возрасте – воздушно-нежная фея из сказки про Золушку, созданная исключительно для дорогого комфорта, для украшения жизненного. Она ж не виновата, что комфорт взял да и развалился в несколько дней... А по-другому, чтоб не украшением, она жить не умеет, не научил ее никто, да и необходимости такой не было. Она, когда в восемнадцать лет замуж за отца выскочила, сразу попала в довольно обустроенный и добротный по тем временам быт профессорской семьи своего молодого мужа, а вскорости уже и Василису родила – когда же ей учиться-то было? Да никто особо на этом и не настаивал. Тем более когда Василиса подросла, она еще и Петечку родила. А потом и вовсе незачем стало, потому как отец, по-умному вычислив и упредив грядущие в стране перемены, быстро пошел в гору и вскоре смог обеспечить разросшейся семье довольно основательный, соответствующий новому времени

комфорт, в который мама всей своей неземной и воздушной красотой очень, ну просто очень органично вписалась. Прямо как тут всегда и была. Теперь так же и в немецкий комфорт быстренько вписалась, если судить по частым письмам, в которых она расписывает свое новое житье-бытье. Такое чувство, что она каждый день их пишет, письма эти...

– Бабушка, а где последнее письмо от мамы, я не читала еще? – встрепенулась от нахлынувших непрошенных мыслей Василиса, и тут же пожалела о сказанном, и прикусила себе язык: сколько раз себе слово давала – не ворошить без надобности запретную тему...

– А что, разве опять от нее письмо пришло? – невозмутимо-старательно ответила вопросом на вопрос Ольга Андреевна, гордо вскинув голову и глядя куда-то мимо Василисы. – Я не в курсе, Васенька, ты же знаешь, я ее писем не читаю...

«Вот так вот вам. От нее. Как будто у мамы имени нет и никогда не было, – улыбнувшись про себя, подумала Василиса. – Такие вот мы, непреклонно-гордые и обид не прощающие...» Вздохнув тихонько, она еще раз ругнула себя за оплошность – вот угораздило-то. Мама с бабушкой и раньше, в лучшие их времена, не особо хорошо ладили – так, обходили вежливо-равнодушно обоюдострые углы. Не ссорились, конечно, но и не дружили особо, довольствуясь общепринятым компромиссом, то бишь признанием едино-совместных прав на общего мужчину – кому сына, кому мужа... В глубине души Василиса почему-то уверена была, что ба-

бушка вовсе и не обижается на маму, что давно уже простила ей немецкое бегство. Потому что совсем не глупой была бабушка, потому что должна была понимать – маму ни при каких обстоятельствах в судомойки не запишешь, да и любой другой работой особо не обременишь. Если, конечно, растоптать-уничтожить не захочешь... Так она просто сердится, для виду. Марку держит. Ну что ж, пусть...

– ...Василиса, ты не слышишь, что ли? – снова выплыл откуда-то из пространства бабушкин голос. – В дверь три раза уже позвонили! Иди, открывай быстрее, это же Лерочка Сергеевна пришла!

Лерочка Сергеевна была очень, очень дорогой массажисткой. Но слава про нее ходила просто необыкновенная. Говорили, она от пациента своего не отступает до тех пор, пока на ноги не поставит окончательно. Заполучить Лерочку Сергеевну в массажистки вообще считалось большой удачей – все равно, что птицу надежды за хвост поймать. Да она и не бралась за каждого, тонко и четко определяя грань своих возможностей: вот здесь я смогу, а тут уж, извините, только Господь Бог поможет... А за Ольгу Андреевну взялась. Вот уже восемь месяцев подряд она трудилась над ней не покладая, как говорится, своих сильно-мускулистых профессиональных рук, приговаривая при этом уверенно каждый раз: «Будет, будет динамика... Не может не быть... Чувствую, что будет...»

Василиса, слушая ее бодрое бормотание, про себя тоже проговаривала каждый раз, как молитву, как заклинание какое: «Будет... Будет динамика... Не может не быть...» И свято верила, что будет обязательно. И верила, что не может не быть.

Только вот оплачивать услуги Лерочки Сергеевны становилось с каждым днем все труднее, на это уходили практически все заработанные в кафе у Сергунчика Василисины деньги. Мало того – еще и с бабушкиной пенсии приходи-

лось иногда прихватывать... Василисе даже сны страшные снились на эту тему: вот Лерочка Сергеевна пришла, а у нее и денег нет, и вот она уходит, так и не сделав очередной массаж, и уносит с собой последнюю надежду...

Хотя Лерочка Сергеевна, надо отдать ей должное, в их тяжелое положение всегда входила и разрешала с расчетом подождать денька три-четыре до Василисиной зарплаты. Чего уж бога гневить...

– Доброе утречко, Василиса-красавица! – ввалилась в прихожую со своим обычным приветствием Лерочка Сергеевна. – Ух, как холодно сегодня! Еще и зимы нет, а уже снегом пахнет...

– Здравствуйте, Лерочка Сергеевна, проходите в комнату! Сейчас я бабушку туда привезу, мы только-только позавтракали. А может, кофе хотите?

– С удовольствием, Василисочка. С холоду кофе – это хорошо. И руки согреются.

– Сейчас, сейчас, Лерочка Сергеевна. Да вы проходите, проходите, сейчас все будет... – суежилась вокруг нее Василиса, стараясь изо всех сил улыбаться поприятливее, потому как сегодня опять придется просить об очередной отсрочке, потому как зарплата у нее будет только послезавтра, и то в лучшем случае, а о худшем и думать начинать страшно...

Пока Лерочка Сергеевна, напившись кофе, упорно старалась всеми силами пробиться к вожделенной мышечной динамике Ольги Андреевны, Василиса, трясаясь от стра-

ха, спешно репетировала про себя очередную униженную просьбу подождать, войти в положение, не бросать их на полпути... И все же, когда Лерочка Сергеевна вышла к ней из бабушкиной комнаты на кухню и вопросительно посмотрела в глаза, перезабыла все придуманные пять минут назад проникновенно-жалостливые слова и встала перед ней пенёчком, тупо уставившись в краснобокое большое яблоко, нарисованное Петькой «для красоты» на белой кухонной столешнице.

– Ну что, опять денег нет? – только и вздохнула Лерочка Сергеевна тихо.

– Вот послезавтра... Уже точно... Зарплата должна быть... – неловко пожала плечами Василиса и покраснела отчаянно, будто заранее хотела обмануть терпеливую Лерочку Сергеевну.

– Василисочка, так вы мне уже за три сеанса должны... Вы помните?

– Да, Лерочка Сергеевна, конечно же, я помню! – проглатывая концы слов, в отчаянии прошептала Василиса. – Вы не бросайте нас, Лерочка Сергеевна!

– Ну конечно, что ж... Я понимаю... Я все понимаю, Василисочка. Только позволь мне один совет тебе дать. Можно?

Василиса молча кивнула, продолжая упорно рассматривать Петькино яблоко на столе и боясь поднять на Лерочку Сергеевну глаза. Господи, да она сейчас не один, она тыся-

чу советов от нее выслушает, миллион советов и миллион упреков – все что угодно выслушает, только бы она их не бросила...

– Я понимаю, как тебе трудно, Васенька. И понимаю, что бабушку на ноги ставить все равно надо, потому что иначе вам с Петей ну никак нельзя. Не потянете вы такой груз. Его и взрослые люди, бывает, с трудом тянут – и в моральном, и в материальном плане... Неходячий инвалид в доме – огромная, огромная проблема, знаешь ли. Бывает, для его близких эта проблема многое в жизни и определяет не в лучшую сторону, чего уж там говорить... А ты еще и сама на ноги не встала, и брата не подняла. Нет, нет, Васенька, обязательно надо тебе бабушку на ноги поднимать!

– Так надо, конечно... – уныло вздохнула Василиса и непонимающе взглянула на Лерочку Сергеевну: странно, чего это она... И без того ясно, что надо...

– Это я вот к чему, Василисочка, веду. Ты ж сама понимаешь, бесплатно я тоже работать не могу. Если начну всех подряд жалеть, так и сама без копейки останусь.

– Лерочка Сергеевна! Я заплачу! Вы не думайте, Лерочка Сергеевна, я обязательно, что вы! – перебив женщину на полуслове, отчаянным шепотом заговорила Василиса, косясь глазами на дверь бабушкиной комнаты.

– Да погоди ты, Васенька, дай сказать... Чего ты перепугалась так? Я ж не отказываю, что ты. Я вот чего тебе предложить хочу... У вас, я смотрю, квартира-то трехкомнатная?

– Да... – опешила Василиса и удивленно уставилась на Лерочку Сергеевну. – Да, трехкомнатная... А что?

– А то! Чего вы, как графья, разжились-то тут, каждый в своей комнате? Вам что, на троих двух комнат мало, что ли? Или в самом деле графья?

– Как это? В каком это смысле – графья? – снова удивленно заморгала мокрыми ресницами Василиса.

– А в таком! Одну-то комнату вы вполне даже можете жильцам сдавать! А что? Доход не такой уж и большой, конечно, выйдет, а ситуацию вашу спасет! Долг, Васенька, это такая штука опасная, между прочим... Один раз не заплатишь, потом второй, а потом пошло-поехало...

– Да знаю... – обреченно махнула рукой Василиса. – У нас за квартиру полгода не плачено, даже и подумать страшно, сколько там уже набежало...

– Ну, вот видишь! А за комнату вполне можно долларов двести-триста взять, а то и все четыреста! Лишние они тебе, что ли?

– Правда? – радостно распахнула на Лерочку Сергеевну глаза Василиса. – Двести долларов?

– Ну да... А ты не знала? Хотя – откуда... Сама еще дите дитем. Вымахала вон под два метра ростом, а жизненного опыта – никакого! Так что давайте-ка вы теснитесь, да и сдавайте комнатку, которая побольше да получше, вот и выйдете таким образом из тяжелой ситуации. Бабушку тебе все равно надо, обязательно надо на ноги ставить, другого выхо-

да у тебя, Васенька, никакого и нету...

– А как их сдают, эти комнаты, Лерочка Сергеевна? Я не знаю... Где жильцов-то найти?

– О господи, Василиса, ты что, в нашу жизнь с неба свалилась? – удивленно уставилась на нее Лерочка Сергеевна.

– Ну да, так и есть, наверное... С неба... – грустно пожала плечами Василиса и улыбнулась виновато, будто сквозь слезы. – Я как-то никогда этого вопроса не касалась, знаете...

– Ну ладно, что с тобой делать, – вздохнула грустно, глядя на нее, Лерочка Сергеевна, – помогу я тебе. У меня дочка одной клиентки как раз в квартирном агентстве работает, вот и попрошу ее подыскать для вас кого-нибудь попримечнее. Студентку какую скромную, что ли... Сегодня же прямо и попрошу. Только давай договоримся так: берешь аванс за месяц вперед и мне сразу долг отдаешь. Хорошо?

– Ой, да конечно, Лерочка Сергеевна! Обязательно! Спасибо вам, дорогая. Даже не знаю, как вас еще и благодарить...

– Ладно, ладно, сочтемся, Васенька. Ну все, побежала я. Значит, послезавтра с утра я у вас, как обычно. А комнатку ты прямо сегодня постарайся приготовить. Так, на всякий случай...

Сергунчик лихо подкрался к Василисе и от всей души шлепнул по ягодицам, и рассмеялся весело, наблюдая за ее очередным то ли смятением, то ли гневом, то ли испуганным удивлением. Он частенько так с ней развлекался: подкрадет-ся сзади незаметно, шлепнет совершенно по-хамски изо всех сил и смотрит во все глаза, что она со всем этим будет делать. Только Василиса ничего особо с этим и не делала. Отворачивалась тут же к своим тарелкам и продолжала намывать их яростно, разве что спина ее становилась прямее да предплечья напрягались сильнее прежнего и разворачивались чуть назад, слегка вздрогнув, как от озноба или, может, от легкого омерзения... Как-то само собой получилось, что она научилась именно так себя вести: не реагировать, не обижаться, не злиться. Она даже и не уговаривала себя особенно на такую реакцию, а подсознательно, видимо, берегла эмоции: тратить их на Сергунчика почему-то до смерти жалко было...

– Ну что, коняшка, как работается? Всем довольна? – хохотнув и отскочив на всякий случай от нее подальше, бодренько спросил Сергунчик.

– Да. Всем довольна. Зарплата сегодня будет? – не поворачивая к нему головы, спросила Василиса равнодушно.

– Зарплата? А зачем тебе, коняшка, зарплата? На овес? – спросил Сергунчик и снова расхохотался весело, без злобы,

будто и ее приглашал вместе повеселиться или улыбнуться хотя бы навстречу жизнерадостной своей игривости.

Она даже и на «коняшку» не обижалась. Пусть называет как хочет – его дело. Лишь бы зарплату вовремя платил. А то взял моду – задерживать. Нравится ему, видимо, когда все вокруг дергаются да смотрят на него вопрошающе – даст сегодня, не даст...

– Ага, на овес. Так будет? – переспросила Василиса и чуть повернула к нему от своих тарелок голову. – Или нет?

– А зачем тебе деньги, коняшка? На наряды, что ль? Так я смотрю, ты не сильно обряжаться любишь, зимой и летом одним цветом ходишь... А?

Василиса, ничего не ответив, отвернула голову и будто выключила его из поля досягаемости, только по плечам едва заметной волной прошла прежняя дрожь.

Сергунчик ушел. Было слышно, как он громко отчитывает кого-то на кухне, как игриво-повизгивающе хохочет с девчонками-официантками, как радостно приветствует первых посетителей... Фигаро, в общем. И тут, как поется в известной арии, и там. Вообще Василиса против Сергунчика, по большому счету, ничего такого не имела и даже в глубине души – правда, в очень уж сильной глубине – уважала за эту его расторопность-пронырливость: у каждого, как говорится, свой способ для бизнеса. Он же не виноват, что она здесь, в его кафе, оказалась, как в той пословице, не пришей кобыле хвост. Они вообще здесь все такие, друг другу

свойские. Уж по крайней мере, всегда найдутся, как пошустрее ответить на этот простой вопрос – зачем им деньги нужны... А она вот не может. Не хватает ей чего-то, чтобы за просто сесть и рассказать тому же Сергунчику про свою беду, про эту безысходно-непробиваемую зависимость под названием «массаж-деньги-массаж». И, наверное, зря. И даже скорее всего, что зря. Отец всегда говорил, что нельзя жизнь через гордыню свою пропускать...

Вспомнив об отце, Василиса вздохнула и тут же будто провалилась, полетела стремительно мыслями в беззаботно-счастливое детство с розовой девчачьей спальней, с широкой деревянной лестницей, ведущей на второй этаж их большого дома в Сосновке, на которой она так любила посидеть с отцом на сон грядущий. А еще – с теннисным кортом на зеленой лужайке, с нагретыми полуденным солнцем белыми плитами вокруг маленького бассейна... Господи, каким все это казалось вечным, незыблемым и уютным, самым собой разумеющимся! И мама с дымчатым золотом летящих по ветру волос, и бабушка со своим яблочным вареньем, которого никто не хотел даже попробовать – вечно она на всех обижалась из-за этого, – и отец, в любую свободную минуту мчащийся к ним, туда, в Сосновку, к солнцу, к горячим яблочным запахам, к маминым милым капризам, к детям своим – Петру и Василисе... Именно отец ей и имечко такое необычное дал. Говорил, как принесли ее из роддома, да как глянула она на него первый раз внимательно, так у него

внутри все и обмерло. Говорил, будто взгляд у нее тогда уже умным да осознанным был. Вот и назвал сразу Василисой, то бишь премудрой. Как в сказке. А потом все ее стали так звать – Василиса да Василиса, так потом и в загсе записали. Вот такое необычное получилось имя, не как у всех. И любил ее отец тоже, как ей казалось, не как всех. Не как малых детей любят с сюсюканьем всяким, а по-взрослому, как дорогого, очень близкого и бесконечно уважаемого друга, трепетно и сердечно. И разговаривал с ней как со взрослой, и даже советы ее детские выслушивал со всей серьезностью и вниманием, и понять пытался всегда. Хотя, казалось, чего там было понимать – вся ее жизнь, как на ладони, на долгие годы вперед высвечивалась: сначала школа хорошая, потом институт замечательно-престижный, потом работа интересная, происходящая параллельно со становлением крепкой женской личности, потом замужество – дети-внуки...

Вдруг спохватившись, она напряглась и разом заставила себя выпрыгнуть из опасных мыслей-воспоминаний. Испугалась. Знала потому что – засидишься в них подольше, потом уже и не выберешься так просто. Потому что отчаяние коварное подкрадется тут как тут и дверцу для выхода в реальное, здесь и сейчас существующее настоящее быстренько прикроет, и тогда уж берегись, Василиса. Отчаяние – штука неуправляемая. Не знает оно ни здравого смысла, ни уговоров взять себя в руки, ни покорного смирения перед обстоятельствами – ничего такого не признает. Так наизнанку всю

душу вывернет, что мало не покажется. Из прошлого надо вовремя выпрыгивать, да и ходить туда надо с осторожностью, понемножку, балуя себя по малой капельке...

Она еще раз с силой тряхнула головой из стороны в сторону, да, видно, перестаралась от усердия: большая плоская салатница «из дорогих», как выражался Сергунчик, вдруг коварно выскользнула из рук и разбилась вдребезги. Василиса вскрикнула от неожиданности и замерла, с удивлением уставившись на синие мелкие стеклышки, красивой мозаикой рассыпавшиеся по желто-коричневым плитам пола. Несколько мелких и острых осколков пребольно впились в ноги, образовав на месте разрезов набухающие на глазах маленькие капельки крови, а она так и стояла, онемев, в ужасе подняв руки в толстых резиновых перчатках, смотрела на все это безобразие – впервые такая оплошность с ней приключилась...

– Ах ты, коняшка неповоротливая! – в тот же момент возник, будто из-под земли, пронырливый Сергунчик. – Ты чего это мне посуду бьешь, а? Учти, все из зарплаты вычту!

– Вычтите. Конечно же, вычтите, – быстро придя в себя, равнодушно-вежливо повернулась к нему Василиса. – Обязательно. Непременно вычтите...

– И вычту! – вдруг завелся с полуоборота Сергунчик. – Поговори у меня тут еще! Барыня нашлась, госпожа Свиристелкина! Ты кто тут есть вообще такая?

– Как – кто? Судомойка я есть, прачка-белошвейка, –

улыбнулась ему примирительно Василиса, наклоняясь к ногам и смахивая легонько влажной рукой капельки крови вместе с тонкими осколками. – А фамилия моя вовсе не Свиристелкина, фамилия моя Барзинская...

– Ненормальная какая-то, – убегая, стрельнул в нее недовольным глазом Сергунчик. – Ну, погоди, доберусь я еще до тебя...

Убрав из-под ног осколки и снова встав к мойке, Василиса с удовольствием вспомнила вчерашний разговор с добрейшей Лерочкой Сергеевной и даже улыбнулась сама себе. Подумалось – и впрямь же хорошее дело, жильцов пустить. Двести долларов в их теперешнем положении – это же о-го-го, это ж, можно сказать, богатство целое, сундук с сокровищами Али-Бабы. Можно даже и на сапоги зимние для Петьки чего-нибудь выкроить. Не ходить же ему в старых, пальцы поджав. Нога ведь растет и растет у него катастрофически...

– Слушай, коняшка, а ты откуда вообще такая взялась? – вздрогнула Василиса от неожиданно возникшего над ее ухом голоса Сергунчика, опять-таки незаметно совсем подкрававшегося. – У тебя родители есть? Они кто? Ты местная или приезжая откуда? Не из беженцев, нет? Странная ты такая... Ну, чего молчишь?

– Слишком много вопросов сразу, – улыбнувшись, чуть повернула к нему голову Василиса. – Давайте по одному...

– Ну, папа-мама у тебя есть?

– Папы нет, а мама да, есть, конечно. А что?

– Да так... А где она?

– Кто?

– Ну, мама твоя, кто!

– В Германии живет...

– У-у-у... – закатил к потолку глаза Сергунчик. – Я ж чувствовал – не просто все с тобой, коняшка. Мама, значит, в Германии живет, а ты у меня тут, значит, посуду моешь сутками? Так?

– Ага... Выходит, что так...

ЧАСТЬ II

5

Он звал ее Альхен. С того самого дня, когда увидел русскую невесту в аэропорту города Нюрнберга. С тех пор ни разу Аллой так и не назвал – все Альхен да Альхен. Поначалу непривычно было, а потом ничего, притерпелось. Да и все остальное притерпелось помаленьку – и страна чужая, и речь эта грубо звучащая, и порядки немецкие образцово-показательные... Только один вопрос все время мучил ее, и не вопрос даже – досада маетная: а вот если б не обманула она его, жениха своего заочно-немецкого, не назвалась одинокой да бездетной на интернетском сайте невест, так ли уж удалось бы ей превратиться из Аллы в эту самую Альхен, или фрау Майер, обожаемую русскую женушку преуспевающего сытого бургера Руди Майера? И как это быстренько все раскрутилось – она и опомниться не успела. Когда ехала сюда по гостевой визе год назад, ни о чем таком и не думала. Хотя вранье все это, что не думала, – чего перед самой собой кокетничать. Думала, конечно. Просто не знала, что домой больше не вернется...

А что, что ей оставалось делать? Жить с Ольгой Андреевной всю жизнь под одной крышей, в убогой ее квартире? Ви-

сеть лишним грузом на ее шее? Сознать себя никчемным и жалким придатком к собственным детям, ее обожаемым внукам? Она ж не виновата, что всю жизнь прожила за мужчиной спиной как за каменной стеной и ничему толковому больше не научилась. Да и Олег не настаивал, чтоб она этому самому жизненно-толковому вообще когда-нибудь училась...

Вздохнув, Алла перевернулась на другой бок и натянула одеяло на голову, свернулась под ним маленьким комочком, плотно зажмурила глаза – надо еще поспать...

Хотя спать вовсе не хотелось. Не шел в нее этот сладкий утренний сон, который она так раньше любила. И даже не сам по себе сон любила, а некое счастливо-сладостное осознание каждодневного праздничного бытия: пусть, пусть другие встают и выходят из теплого дома в холодные промозглые утра, а она будет барахтаться, плавать в своей беззаботности-невесомости на шелке простыней, под пухом одеяла... А вот здесь такого праздника не получалось. И не получится уже никогда, наверное. Перечеркнула она сама свой праздник легкой черточкой-прочерком в графе анкетной, о количестве детей у потенциальной русской невесты вопрошающей. Перечеркнула разом, выходит, присутствие в своей жизни и Василисы, и Петечки...

Откинув одеяло, она села на постели, запустила руки в густые светло-рыжие волосы, откинула голову назад. Сентябрьское немецкое солнце всю рвалось в спальню через

неплотно закрытые ставни, оставляя на полу узенькие острые полоски света. Сейчас, сейчас она выйдет к нему, к этому солнцу, со стаканом сока и большой чашкой чудесно пахнущего кофе, сядет, подогнув под себя ноги, на теплую траву газона и подставит навстречу ему заспанное лицо, и почувствует, как разглаживается под нежными утренними лучами кожа, и услышит, как ласково плещется голубая вода в бассейне, приглашая в свои утренние объятия. А потом Гретхен позовет ее завтракать...

Спускаясь по лестнице, Алла вспомнила первое утро в этом доме: она тогда так же вышла и уселась прямо на траву, сложив по-турецки ноги, а Руди, удивленно и испуганно жестикулируя, сутился вокруг нее и все показывал пальцем на раскинутый рядом шезлонг – непорядок, мол, вот там, там сидеть надо... А потом ничего, привык. Понял, видно, что маленькие ее странности-вольности ни в какое сравнение не идут с той русской покладистостью да покорностью, в поисках которой и бродят заграничные женихи по интернетовским сайтам...

– Фрау, битте, – услышала Алла из открытого кухонного окна ласковый голосок Гретхен и улыбнулась ей приветливо. Что за прелесть эта девчонка-прислуга, и где только Руди ее откопал... Не видно и не слышно ее, будто и нет вовсе, а в доме чистота просто стерильная, еда вкусная, газоны подстрижены, белье всегда свежее...

Алла поднялась с травы, допила кофе, подошла к самому

краю бассейна. Солнечные зайчики, пробравшись через голубую толщу воды, резвились на белых плитах, подмигивали лукаво – ну, давай иди к нам... Вспомнилось ей тут же, как она стояла вот так, на краю бассейна, в родной Сосновке и смотрела, как плещутся в воде Петечка с Василисой... Серdito тряхнув головой так, что рассыпались по плечам золотистые буйные кудри, она резко развернулась и пошла в дом – завтракать пора. Что ж это за утро такое, никакого душевного покоя нет. Опять, видно, надо садиться письмо писать...

Странно, но эта письменная односторонняя связь с Петечкой и Василисой почему-то успокаивала, давала иллюзию пусть даже и нелепого, но хотя бы какого-то общения. Они ведь там письма эти читают и обсуждают между собой, наверное. Вот она таким образом и участвует в их жизни... Пусть хоть так, чем вообще никак. Хотя очень, очень интересно знать, в какой институт поступила Васенька, как Петечка к новой школе привык, и водит ли его Ольга Андреевна по-прежнему на фигурное катание – у мальчика, тренер говорил, исключительные способности к этому виду спорта, и тело будто создано для мягкого скольжения по льду. Можно было бы, конечно, и самой втайне от Руди домой позвонить или попросить детей написать ей письмо до востребования, да она боялась очень. Боялась услышать Петечкин от слез дрожащий голос, боялась Василисиной скрыто-равнодушной обиды, боялась и открытого холодного презрения

Ольги Андреевны... Конечно, она должна была разделить эту ношу с ними. Конечно, должна... Только не смогла вот. И забыть их не смогла. Одно и остается – бесконечные письма писать...

Гретхен, радостно улыбаясь во все свои молодые тридцать два зуба, поставила перед ней омлет со шпинатом и фруктовый салат, сделала быстрый книксен и умчалась по хозяйству, оставив после себя легкий запах недорогих духов и веселой юности. Хорошая девочка. Не красавица, но миленькая. А вот Василису ни красавицей, ни миленькой и не назовешь. Она как бы сама в себе, сплошное противоречие недостатков: высокая и с костью широкой, но зато статная и прямая, черты лица довольно грубые, но между собой таким странным образом удачно сложенные, что надолго притягивают взгляд и держат его на себе так же долго. Интересная девочка, и характер очень сложный – отцовский, мужской, грубый и нежный одновременно. Олег ее очень любил... Да он всех любил – и ее, и Петечку, и маму свою. Хороший сын, хороший муж, хороший отец. Эх, жаль, конечно...

Вздыхнув, Алла отодвинула от себя тарелку с нетронутым салатом, медленно вышла из кухни. Ничего в это утро ей не хотелось – ни спать, ни есть, ни идти в тренажерный залчик, ни плавать в бассейне. Зайдя в спальню, она уселась перед туалетным зеркалом, долго смотрела сама себе в грустные глаза. Подняв вверх руки, привычным жестом запустила пальцы в роскошные волосы, откинула их за спину. И тут

же решила – надо обязательно взять себя в руки. Потому что ничего страшного в ее жизни вовсе не происходит: детям она все равно ничем помочь не смогла бы, да и Ольга Андреевна без нее еще и лучше их по жизни определит. А здесь у нее хороший дом, хороший муж Руди Майер, который ее любит по-своему. И она его тоже любит. Наверное. А может, и нет. А может, привыкла просто. Как привыкла в свое время к Олегу, пристроилась-прилепилась, как улитка к теплому камню. И Руди не лучше и не хуже Олега – тоже умный, тоже хорошо обеспеченный, тоже добрый. А это, между прочим, самые главные качества в мужчине, красота ему вообще ни к чему. Она как-то быстро привыкла к его своеобразной немецкой пухлости-некрасивости, к жирным хомячьим щечкам, поросшим жесткими седыми волосами, к спрятанному в бороде и усах маленькому бантику ярко-красных губ, к голубым крошечным глазкам, лучащимся сытым бургерским удовольствием... Зато как радостно он стремится всегда украсить ее здешнюю жизнь, с каким азартом наряжает ее, покупая безумно дорогие и ненужные тряпочки, как красиво дарит украшения – как вожденную игрушку любимому и балованному ребенку. Хотя, бывает, и чувствует она себя здесь ценной породы зверьком или золотой рыбкой-вуалехвостом в огромном аквариуме. Ну что ж. Как говорится, за что боролась... А куда, скажите, можно было еще прилепить эту ленивую женственность, эту грацию восхитительной бездельницы вкупе с кокетливой русской покладистостью-покорно-

стью – никуда больше и нельзя. Только здесь и можно ценителя всех этих прелестей найти. Еще бы – ни от одной немки такого никогда в жизни не дождешься...

Алла придвинула поближе к зеркалу лицо, подмигнула сама себе ободряюще, потянула губы в улыбке. Хватит. Нельзя грустить. Вечером они идут к сестре Руди, фрау Марте Зайферт, и надо обязательно быть в форме. Она хорошая, эта Марта. И сразу приняла ее хорошо, хотя подругой не стала, конечно. У нее как-то вообще подруг здесь не образовалось... И нельзя иметь на лице такие печальные глаза – Руди будет сердиться. Ничего не скажет, конечно, но сердиться будет. Сожмет свои ярко-красные губы в малюсенький бантик, щеки надует и будет красноречиво молчать, всем своим видом говоря – чего, мол, тебе еще нужно, красивая и глупая русская женщина, все у тебя есть для полноценного настоящего счастья, и никакого такого права ты на эту печаль в глазах вовсе не имеешь...

Жилец и в самом деле объявился очень быстро, как и обещала добрая Лерочка Сергеевна. Странно, но им оказался приличный, молодой еще мужчина довольно высокого роста, с очень симпатичным лицом и добрыми веселыми глазами. Он осмотрел быстро комнату, улыбнулся коротко, кивнул – подходит, мол, согласен. Василиса, неловко улыбаясь, с осторожностью приняла из его рук три стодолларовые бумажки, взглянула еще раз вопросительно: все ли так на самом деле, не ошиблась ли...

Для жильца она решила освободить свою комнату – Петьку жалко стало. Передвинула в бабушкиной комнате шкаф, расчистила небольшое пространство для раскладушки – в тесноте да не в обиде, как говорится. Ольга Андреевна молча наблюдала за ее суетой, улыбалась грустно из своего кресла. Не нравилась ей вся эта затея с квартирантом, конечно, но что делать... Лучше уж помалкивать, раз Васенька другого выхода не видит...

– Так, говоришь, приличный жилец, да? – только и спросила она полупшепотом, виновато подняв на внучку глаза. – А вещей-то много с собой принес?

– Нет, бабушка, совсем немного. Чемоданчик только да ноутбук...

– Странно...

– Ну, почему странно?

– А зачем ему ноутбук? Он кто вообще по профессии, ты спросила?

– Нет, бабушка, не спросила. Неудобно как-то...

Все подробности о жилье неожиданно выяснил пришедший из школы Петька. Влетев по привычке в Василисину комнату, он остановился как вкопанный, уставился удивленно на квартиранта, потом со всего размаху хлопнул себя ладошкой по лбу и рассмеялся весело, заставив и его дружелюбно улыбнуться ему в ответ.

– Здравсте! Вы же наш жилец, наверное! Мне ж Василиса говорила, а я и забыл совсем... Меня Петром зовут, а вас как?

– А меня – Сашей. Значит, будем знакомы, Петр. А ты всегда Петр или иногда просто Петей бываешь?

– Да когда как, знаете ли, – забавно развел руки в стороны мальчишка. – Бабушка вот меня по-смешному Петрушей называет, сестрица Петькой кличет, а в школе просто Питом зовут...

– Понятно...

– Значит, вы у нас теперь жить будете?

– Ну да, буду, если позволишь.

– Саша, а вы кто?

– В каком смысле – кто? – взглянул на Петьку из-под больших очков Саша. – Поставьте, пожалуйста, вопрос покоректнее, Петр.

– Ну... Вы кем работаете? Какая у вас, к примеру, профессия?

– К примеру? – снова удивленно уставился на него из-под очков Саша, едва заметно улыбаясь. – К примеру, я телемастер...

– Ух ты-ы-ы... – восхищенно протянул Петька. – И что, любой телевизор можете починить?

– Любой могу. И не только телевизор, а еще и холодильник, и музыкальный центр, и компьютер... У тебя есть компьютер, Петр?

– Нет... Был когда-то, а теперь уже нет... – грустно вздохнул Петька. – А вы в какой-нибудь крутой фирме работаете, да?

– Нет, нигде не работаю.

– Как это?

– А так. Я сам по себе работаю. У кого телевизор сломается, к тому и иду...

– Свободный художник, значит?

– Ага. Это ты, Петр, правильно подметил. Свободный, совершенно свободный.

– Ну ладно, вы тут устраивайтесь пока. Пойду я. Больше залетать к вам не буду, вы не бойтесь...

– Ну что ты, Петр. Заходи ко мне в любое время, без церемоний. Я только рад буду.

– Да? Ну, хорошо, я зайду, конечно, – важно откланялся Петька, закрывая за собой дверь.

Найдя сестру в бабушкиной комнате, он выложил им скороговоркой всю полную информацию о жильце и без всякого перехода, на одном дыхании, тут же капризно потребовал у Василисы:

– Ты мне уже третий день обещаешь помочь со стихами Колокольчиковой! Прошу тебя, прошу! Ну когда уже, Вась?

– Ой, Петьк, ну извини. Видишь, со временем никак. Надо ж было комнату освобождать... Давай сегодня, ладно? Я сейчас вам с бабушкой на завтра еду буду готовить, а ты пока уроки свои сделаешь. Идет? И бабушку к этому делу подключим... Втроем-то такие стихи для твоей Колокольчиковой соорудим, что она сразу в обморок упадет! Вот сразу после ужина и начнем...

– А что у нас сегодня на ужин?

– Морковные котлеты.

– У-у-у... – сложив брови страдальческим домиком, завыл, как голодный волчонок, Петька.

– Ну, Петь! Ну ты что... Мы ж договаривались с тобой... Сам же понимать должен...

– Ой, да ничего! – и сам уже испугался своих эмоций Петька. – Это я так. Вась, ну ладно... Ну прости, я и забыл совсем, что я морковные котлеты страсть как люблю, вот обожаю просто...

Петька вообще был понимающим ребенком. А еще – он был любящим внуком и братом. Потому что это надо очень уж любить попавших в сложную ситуацию сестру и бабуш-

ку, чтобы терпеливо изо дня в день есть на ужин морковные, капустные да свекольные котлеты, и это несмотря на свой совсем еще капризно-эгоистичный, требующий побольше вкусной еды для роста организма возраст – двенадцать лет от роду... Не могли они позволить себе никакой вкусной еды. Нельзя им было нарушить установленный сложившимися жизненными обстоятельствами хрупкий финансовый баланс под названием «массаж-деньги-массаж». Они его и не нарушали, и терпеливо проглатывали все это овощное безобразие изо дня в день. Правда, изо всех сил старались делать это красиво, то есть Василиса торжественно сервировала стол к обеду изящной посудой, оставшейся от прежней их благополучной жизни, и накрывала его крахмальной белой скатертью, и ставила тарелки на подтарельники – все как полагается, все достойно, все как раньше... А на красивых тарелках, им казалось, и овощные котлеты очень даже приличной едой смотрятся. А может, они успокаивали себя так...

Вечером, отужинав морковными котлетами, они друженько собрались вокруг кухонного стола и, наморщив от усердия лбы, принялись за стихоплетство для Лилии Колокольчиковой, Петькиной одноклассницы, отличницы и, судя по его рассказам, самой распрекрасной девочки на всем белом свете. Будущие стихи, как предполагалось, должны были поразить Колокольчикову в самое ее девчачье сердце и заставить-таки обратить внимание на скромного одноклассника, Петю Барзинского, их обожаемого внука и брата.

– Мне кажется, мы должны плясать все-таки от имени. Вы вслушайтесь, какое красивое у девочки имя – Лилия... – мечтательно подняв к потолку глаза, предложила свою версию Ольга Андреевна.

– Да ну... Это слишком просто – от имени. Лучше, я думаю, чего-нибудь подростково-стильное изобразить, в ритме рэпа, например, – не согласилась с ней Василиса. – Уж поражать так поражать. Так ведь, Петька?

– Не-е-е... Она рэп не любит, наверное, – замотал головой Петька, почесав карандашом висок. – Мне кажется, она такие стихи любит, знаешь, чисто женские...

– Это какие? – хором спросили Василиса с Ольгой Андреевной.

– Ну... Чтобы там сравнения всякие красивые были..

– Так я и говорю – надо от имени плясать! – снова воодушевилась Ольга Андреевна. – Вот и давайте будем ее имя с чем-нибудь красивым сравнивать. Например, так...

Закатив глаза к потолку и немного помолчав, она проговорила тихо и торжественно:

– Твое имя – как первый пушистый снежок...

Василиса, подскочив от нетерпения на стуле, тут же подхватила:

– Твое имя – как ток, электрический ток...

А дальше не пошло. Они сидели, уставившись друг на друга, молчали. В тишине, в этой творчески-напряженной долгой паузе с наморщенными лбами, с крутящимися нервно в

руках карандашами возник вдруг из дверного проема твердый и насмешливый мужской голос, заставивший их всех одновременно вздрогнуть и дружно повернуть к нему головы:

– Твое имя – как прерий душистых цветов?

Жилец Саша стоял в дверях, улыбался им весело и скромно, словно извиняясь за свое такое нахальное вторжение в начавшийся творческий процесс. Перед собой на весу он держал прозрачный пакет-маечку с продуктами – поужинать человек решил, что тут такого...

– Как вы сказали? – хлопнул растерянными ресницами Петька. – Цветок прерий?

– Ну да...

– Ой, не могу! Бабушка, ты слышала? Колокольчикова – цветок прерий!

Петька вдруг покатился со смеху, потянув за собой и Василису с Ольгой Андреевной. А через минуту они смеялись уже все вчетвером – больше над Петькой, конечно, так забавно отреагировавшим на этот Сашин перл:

– Ой, не могу! Прерий душистых цветов... Лилька Колокольчикова – цветок прерий...

– Так зато в рифму попал... – попыталась неуверенно защитить Сашину версию стихов для Колокольчиковой Ольга Андреевна, тоже нахохотавшись до слез. – И очень даже хорошо звучит, и романтично даже как-то, будто из пятидесятих моих годов... Чего ты, ей-богу, Петенька...

Отсмеявшись, они все дружно уставились на Сашу, так и

стоящего в дверях со своим пакетом-маечкой.

– Мы вам не помешаем? Вам же поужинать надо... Может, нам в комнату уйти?

– Нет! – выставил вперед руку, улыбаясь, Саша. – Что вы, ни в коем случае! Никогда себе не прощу, если прерву грубо такой чудесный творческий порыв!

Василиса и Ольга Андреевна переглянулись и снова рассмеялись дружно, словно одобряя между собой то обстоятельство, что жилец им, слава богу, достался с нормальным и совершенно здоровым чувством юмора. А Петька больше не смеялся. Как замороженный, не мигая и открыв рот, он уставился на упаковку сарделек, выуженных Сашей из его мешка и небрежно брошенных на кухонную столешницу около плиты. Петьке было ужасно стыдно, но он никак, ну никак не мог оторвать от этих сарделек глаз. Они лежали в своем вакууме так заманчиво-притягивающе, слепившись толстомясыми розовыми боками, и так вдруг ему захотелось разорвать в секунду обволакивающую их пленку и вонзиться в них зубами... Он громко и судорожно сглотнул вмиг накопившуюся во рту слюну и, встретившись с Сашей глазами, быстренько и стыдливо отвел взгляд в сторону. Саша только моргнул растеряннo, будто прошил его этот мальчишеский взгляд насквозь...

– А вы знаете, уважаемые хозяева, я ведь жилец в некотором роде проблемный! – громко проговорил он, тут же придя в себя и обращаясь нарочито только к Василисе и Ольге

Андреевне. — Мне, знаете, в одном вопросе очень ваша помощь потребуется...

— Да? — тут же устались они на него озадаченно. — И какая? Вы говорите, не стесняйтесь...

— Да понимаете, тут такая штука... Не умею я есть один. Вот хоть режьте меня на куски — не могу проглотить, и все, когда в одиночестве ужинаю... Может, составите компанию? А? Или ты, Петр, меня выручишь?

— Да! Да, конечно! Я — конечно! — обрадованно и благодарно воскликнул Петька, снова в надежде подняв глаза на упаковку сарделек, и даже руку вверх потянул, как за школьной партой сидя.

— Петя!! — отчаянным хором воскликнули Василиса с Ольгой Андреевной, моментально прочувствовав всю эту грустную ситуацию, и так же грустно замолчали, боясь поднять на Сашу глаза.

— Как тебе не стыдно, Петя... — прошептала Ольга Андреевна и чуть не заплакала от жалости к внуку, и вовсе ей не хотелось его стыдить...

Да. Гордость, говорят, штука чудесная. А когда она еще и умная, то чудесная вдвойне. Когда она знает, чувствует, что надо потихонечку отойти-отползти на второй план и уступить свое место ее величеству простоте, которая, бывает, в определенный момент не менее чудесна, чем эта самая гордость и есть...

— Бабушка, вот скажи, ну что нам за жилец такой попал-

ся, а? – вдруг звонко и весело произнесла Василиса, будто распоров с треском образовавшуюся тяжелую пленку-паузу. – Чего нам опять не повезло-то так? Проблемы у него всякие гастрономические, видишь ли, психозы-комплексы... Не жилец, а наказание сплошное на нашу голову! Ну что делать – давайте уже варите быстрее ваши сардельки-мардельки, будем вас выручать...

– Один момент! – радостно и благодарно подхватил ее тональность Саша и успел-таки подмигнуть по-мужицки совсем уж убитому бабкиным грустным гневом Петьке. – Где у вас тут кастрюльки-мастрюльки? Петр, подсуетись, помоги мне на первых порах...

Ольга Андреевна улыбнулась расслабленно, откинула голову на спинку самодельного кресла-каталки, стала следить отрешенно за образовавшейся дружной кухонной суетой, пока глаза ее не затуманились слезами. В сотый раз мысленно проклянув свой жестокий insult, она в сотый же раз мысленно обратилась и к Богу, поблагодарив его и за умницу-внучку Василису, и за доброго и необыкновенно искреннего внука Петечку...

– А вы правда телемастер или Петька не понял чего? – спросила Василиса, когда они уселись за стол второй раз, получается, ужинать Сашиними сардельками.

– Правда. А что?

– Да так... Не похоже просто...

– Ну да, вы правы, Василиса. Я не совсем телемастер, если

честно. Я этим себе на материальную жизнь зарабатываю. От нее, от материальной-то, никуда ведь не денешься!

– Это уж точно... – вздохнула грустно Василиса. – Никуда не денешься...

– А живу я, получается, другим делом...

– А каким, если не секрет?

– Вообще-то секрет, конечно.

– Ой, да ладно! У вас, Саша, знаете ли, все секреты на лице написаны! Небось романы тайком пишете?

– С чего вы взяли?

Саша отложил вилку и, сцепив домиком свои крупные ладони и устроив на них подбородок, уставился на Василису удивленно и заинтересованно. Она улыбнулась ему дружелюбно и почти по-женски кокетливо, порядочно откусила от сардельки и зажмурилась от удовольствия, и непонятно было, что ей в сложившейся ситуации нравится больше – такое его внезапное внутреннее смятение или забытый вкус хорошей дорогой еды. Ольга Андреевна взглянула на внуку с легким укором, легко дотронулась до Сашиной руки:

– Вы не сердитесь на нее, Сашенька, пожалуйста. Она у нас такая вот девушка, прямая да своеобразная...

– Да нет, я не сержусь, с чего вы взяли? – широко улыбнулся Саша, продолжая разглядывать Василису. – Самое странное, знаете ли, – права она. В точку попала. Я действительно романы пишу... И действительно тайком...

– А почему? – тихо спросила Василиса.

– Что – почему? – так же тихо переспросил ее Саша.

– Почему тайком-то? Или вы о чем неприличном пишете, а?

– Да наоборот, скорее...

Саша замолчал и вмиг будто отодвинулся, посерьезнел лицом, погрузнел глазами. Исчезло, растворилось сразу и общее поле их дружного общения, легкой, радостной простоты. Василиса, почувствовав эту быструю перемену, переполошилась вдруг:

– Саша, я вас обидела, да? Правда? Обидела?

– Да нет же, Васенька, что вы, – грустно улыбнулся ей Саша. – Меня вообще, знаете, очень трудно обидеть. Практически невозможно.

– Но я же вижу...

Саша, ничего не ответив, вдруг резко положил ладони на стол, произнес громко и торжественно:

– Так! А завтра у нас объявляется чаепитие с тортом! За вами чай, за мной – торт... Петр, ты какой любишь, чтобы шоколада больше было и роз-мимоз всяких?

– Ой! – захлебнулся, засияв глазами, Петька и даже подпрыгнул слегка на стуле. – А я, знаете, такой белый люблю, чтобы с фруктами сверху, и с марципанами, и с орехами... И чтобы большой-большой был, и круглый...

– Петя!! – опять хором воскликнули Василиса и Ольга Андреевна, повернувшись к нему возмущенно. Потом переглянулись и расхохотались тут же весело, теперь уже и вместе

с Сашей.

– А стихи Колокольчиковой опять не сочинили! – в ответ им укоризненно проговорил Петька, вставая из-за стола. – Тоже, поэтессы нашлись... Ахматова с Цветаевой...

– Петь, вот давай послезавтра, а? Завтра я на работе, а послезавтра уже совершенно точно сочиним. И Саша нам поможет... Правда, Саша?

– А то! – широко развел руками в стороны Саша. – Петр, мы же уже их практически начали сочинять-то, стихи для Колокольчиковой твоей! Вот и продолжим...

– Про цветок прерий, да? – язвительно сузив зеленые глаза, спросил Петька с сарказмом. – Каких только, я забыл...

– Душистых, Петр. Прерии, они, знаешь, всегда душистые...

– Ага. Цветок душистых прерий, значит... Колокольчикова просто умрет от счастья, когда узнает, кто она есть такая... – пробурчал себе под нос Петька, выходя из кухни.

– А что, я бы и умерла, например, – вздохнув, тихо, совсем тихо произнесла Василиса, собирая посуду со стола и поворачиваясь к мойке – этой ненавистной посудной мойке, за которой ей завтра придется стоять в кафе у Сергунчика с самого утра и до самой поздней ночи...

– Васенька, ты не забыла, что отца вашего послезавтра помянуть нужно? Господи, неужели два года уже прошло? – грустно вздохнула Ольга Андреевна, глядя ей в спину. – Надо бы вам с Петечкой на кладбище съездить...

– Нет, бабушка, Конечно же, не забыла. Обязательно съездим...

Тряский старый автобус долго вез их на окраину города, и они заранее уже и перемерзли все, и сидели, прижимаясь друг другу сиротливо. К тому же Василисе отчаянно хотелось спать – предыдущая ночь выдалась совсем уж тяжелой. И кто это придумал вообще такое – свадьбы в кафе отмечать... Да еще и с купеческим размахом, с пьянством, с мерзко-воюющей и визгливой музыкой сильно подвыпившего доморощенного квартета молодых бездарностей, важно именующих себя претенциозным именем «Дедушка Фрейд»... Какой там, к черту, дедушка... Если б была возможность у этого бедного дедушки послушать их одну хотя бы секундочку, он бы быстренько про свой психоанализ забыл да схватился за седую умную голову от ужаса...

Автобус наконец добрался до конечной остановки и, развернувшись, остановился, будто с облегчением даже, будто сам себе удивился – неужели таки дополз до последнего пункта, где можно отдохнуть-отстояться с полчасика хоть. Петька с Василисой да еще вместе с двумя какими-то пожилыми тетками в грустных черных платочках вышли из его дверей и под возмущенное карканье огромного скопища ворон, кружащих над голыми почти деревьями, направились к воротам кладбища, ежась от холода и втягивая головы в воротники курток. Что ж это за октябрь выдался нынче холод-

ный такой, на удивление просто. Как зимой морозит. Всю душевную багряно-золотую красоту осени своим холодом испоганил...

Еще издалека они заметили у отцовской могильной плиты человека какого-то, сидящего к ним спиной на маленьком раскладном стульчике, и переглянулись нерешительно. Обернулся вскоре и человек на их шаги, и улыбнулся им приветливо, и рукой махнул – идите, идите сюда быстрее...

– Вась, да это же Вениамин Алексеич! Дядя Веня, здравствуйте! – радостно бросился к нему Петька. – И вы тоже про папу вспомнили, да?

– Ну, вашего папу я никогда не забуду, ребятаки... – с грустью ответил Вениамин Алексеевич, бывший отцовский сотрудник, или соратник, или правая его рука, или как там еще называют близких, доверенных, проверенных обстоятельствами общего дела людей. Он и в самом деле был всегда правой рукой отца, был старше его намного, а потому хитрее и прозорливее, и умело заправлял в фирме всеми финансами и бухгалтерией. Только вот после случившейся трагедии исчез куда-то и на похороны не пришел. Хотя на допросы потом ходил исправно – Василиса сама слышала, как следователь об этом бабушке говорил...

Подойдя ближе, она с удивлением начала рассматривать этого когда-то красивого, несмотря на свой возраст, всегда подтянутого и презентабельного мужчину. Она его совсем, совсем не узнавала – старик и старик сидел перед ней на жал-

ком, игрушечном каком-то раскладном стульчике; пегие седые волосы его неровными клочками торчали над головой, лицо было, как у пьющего, бледным и отечным, и будто болезненно-влажным, как сырая картофелина на свежем срезе, нижние веки провисли под глазами некрасивыми дряблыми мешочками. Одежда на нем была дешевой, но очень чистенькой и аккуратной: стрелки брюк были наглажены до бритвенной остроты, из ворота скромной, явно купленной на распродаже курточки выглядывал наглухо застегнутый твердый воротничок белоснежной сорочки. Прямо на могильной плите перед Вениамином Алексеевичем стояла едва початая бутылка водки да на старой газетке была разложена скромная поминальная еда, от вида которой Василисе стало совсем уж грустно: пожухлые перья зеленого лука накрывали собой куски толсто и некрасиво нарезанного сала, а кусочки черствого белого хлеба как-то очень уж сиротливо прилепились к основательно помятым помидорам. Жалкой помятостью своей бедные помидоры отчего-то и навевали неизбывную эту тоску, и сразу захотелось заплакать, зарыдать в голос о своем неуютном сиротстве...

– Ну что ж, давайте-ка для начала помянем вашего батюшку, ребятки, царствие ему небесное... – потянулся к бутылке Вениамин Алексеевич и разлил мерзко пахнущее ее содержимое в два граненых стаканчика, один из которых уважительно протянул Василисе. Она взяла его в руки нерешительно, подержала, будто примериваясь, потом испуганно

подняла на него монгольские свои глаза:

– Ой, я же не умею, Вениамин Алексеевич... Я же ни разу в жизни водки не пила...

– Вот и плохо, что не умеешь, Василиса. В жизни надо все уметь делать. Оно, умение-то, всякое тебе пригодится.

– Ой, ну не знаю... Боюсь я...

Она робко взглянула на отцовскую фотографию, выпуклым овалом вставленную в могильную плиту, словно спрашивала у него совета. Он, как обычно, улыбался ей любяще, и показалось даже, одобрял ее будто. Петька, наблюдая за ее мучениями да за дрожащей от холода рукой, держащей на весу граненый стаканчик, вдруг проговорил не по-мальчишески жестко и решительно:

– Дядь Вень, так может, я это сделаю, а? Раз так надо... Я ж мужик все-таки. А с нее, с девчонки, что возьмешь...

– Нет уж, Петро, – усмехнулся грустно ему в ответ Вениамин Алексеевич и взглянул уважительно, – ты хоть и мужик, конечно, только недозрелый еще. Нельзя тебе. Хотя и молодец, заступился за сеструху... Ничего-ничего, пусть выпьет. Смотри, аж посинела вся, и руки дрожат...

– Да она устала просто...

Василиса, решившись, закрыла глаза и поднесла стаканчик к губам, и глотнула из него порядочную порцию, и закашлялась, конечно же, и торопливо схватила за протянутый ей Вениамином Алексеевичем кусок хлеба с толстым салом. Старательно жуя и тараща узкие глаза, вскоре уже от-

дышалась и с удивлением начала ощущать разливающееся по желудку блаженное тепло, будто все расправлялось у нее внутри, оживало и потихоньку согревалось, а потом показалось даже, будто кто-то подошел сзади и ласково-играючи ударил по затылку, отчего голова чуть закружилась и стала совсем легкой, как перышко. И в то же время состояние это настораживало, казалось ей обманным каким-то, легким таким коварным враньем, а вранья она сроду не любила. Но что делать – надо так надо. И отец вон как смотрит, будто действительно одобряет, что она его так по-взрослому помянула...

– Ну что ж, светлая тебе память, Олег Петрович! – крикнув, осушил до дна свой стаканчик и Вениамин Алексеевич. – Хороший был человек ваш отец, ребятки. Умный да честный. Оттого и ушел...

– Как это – от того? – напряженно уставился на него вдруг Петька. – Что его, за честность убили, что ли?

– Ага, Петро. Именно за честность и убили... – проговорил Вениамин Алексеевич, наклоняясь к своей газетке и аккуратно кладя кусок сала на хлеб. – Не любит наш злобный да дикий бизнес честных, понимаешь? Не дорос он еще до этого. Для него честность эта – как грыжа, в детстве не вырезанная. Вроде и не мешает особо, но раздражает – жуть... Говорил я ему...

– А папа мне говорил, что надо всегда честным быть, и с другими, и с самим собой тоже! – звонко и обиженно пере-

бил его Петька. – Он говорил, что так жить гораздо легче!

– Да ладно, Петро, не сердись. Это я так, от горя всякую ерунду языком молочу. Расскажите лучше, как живете-то...

– А хорошо живем! – с тем же мальчишеским вызовом проговорил Петька. – Все у нас хорошо, вот! Правда же, Вась?

– Да ладно тебе, Петь, чего ты разошелся... – примири-тельно ткнула она ему в плечо кончиками пальцев. И, обра-щаясь к Вениамину Алексеевичу, грустно произнесла: – У нас же бабушка очень тяжелый insult перенесла, знаете... Теперь не ходит совсем...

– Да, Васенька, я слышал, – покивал головой Вениамин Алексеевич, – тоже горе, конечно. А кто помогает хоть вам? У вас же не осталось ничего, насколько я знаю...

– Нет, никто не помогает. Все сразу подевались куда-то. И не пришел ни разу никто, и не позвонил никто...

– А вы не обижайтесь, ребятки. Так уж жизнь наша дурная устроена, что поделаешь. Тогда же все перепугались до смер-ти, когда с вашим отцом так круто разобрались, да забились в норы свои да щели поглубже. А попозже выползли из них и живут теперь так, чтобы старого, не дай бог, не вспоминать да беды на себя не накликать. Каждый за свою собственную нательную рубашку больше всех боится да провалами в па-мяти от плохих тех воспоминаний отгораживается...

– Да мы и не обижаемся. Мы вообще не из обидчивых, вы же знаете, – великодушно махнула рукой куда-то в сторону

Василиса, словно обращалась сейчас не к Вениамину Алексеевичу, а к тем самым перепуганным, которые попрятались в норы да щели, оберегая свои близкие к телу рубашки.

— А вы, дядя Веня, тоже в свою нору забились, да? Вы же тоже к нам не пришли...

— Петя, прекрати! Чего это ты прямо как с цепи сорвался... — укоризненно проговорила Василиса брату и взглянула виновато сверху на опущенную пегую голову Вениамина Алексеевича.

— Выходит, и я забился, Петро, — с грустным и глубоким вздохом проговорил тот и поднял на них больные слезящиеся глаза. — Вот меня судьба за это и наказала...

— А вы чем сейчас занимаетесь, Вениамин Алексеевич, работаете где-то?

— Нет, Васенька, не работаю. Не берут меня никуда. То же шарахаются как от прокаженного... Да и возраст, знаете... Это отец меня ваш на крылья тогда посадил, вот и возомнил я о себе невесть что. Я ему очень поверил, отцу вашему. Поверил в эту принципиальность его, честность да порядочность в делах, и сам его ни в чем ни разу не обманул, ни одной копейки не присвоил. А только видите, чем все это закончилось...

Умным он был, конечно, мужиком, а одной вещи так и не понял — нельзя эту свою порядочность природную железобетонным щитом впереди себя выставлять, надо ее, родимую, наоборот, прятать от всех да в тылу глубоко держать. По-

хитрее быть надо, поизворотливей, не соваться куда не следует со своей честностью да чистоплотностью!

– Нет, не согласна я с вами, Вениамин Алексеевич! Отец наш был таким, каким был. И его уважали все за это. Может, особо не любили, но уважали. И мы его уважаем, и любить, и помнить будем всегда именно таким вот, и говорить плохо о нем не позволим... И вам тоже не позволим!

Василиса осеклась вдруг и замолчала. Стало почему-то ужасно неловко выговаривать эти жесткие, в общем, слова старому и больному человеку. Чего это она – прямо не лучше Петьки. Он помянуть отца ее пришел, а она разгневалась, видите ли. Отец вот всегда говорил, что нельзя сердиться на слабого. Говорил, если сердишься на слабого, значит, ты еще слабее. И не сердиться на него надо, а пройти мимо побыстрее, и не заметить постараться этой его злобы... И пусть он, Вениамин Алексеевич, говорит себе что хочет. Может, ему так легче? Она-то знает, что отец ее никогда и ни за что на свете не стал бы изворачиваться и подстраиваться под чужие требования, и действительно жил так, как считал нужным, и правильно его коллега сейчас сказал про природную его железобетонную порядочность...

– А мама ваша где теперь, ребятки? – миролюбиво произнес вдруг Вениамин Алексеевич, нарушив неловкую паузу. – Почему она не пришла мужа своего помянуть?

– А она у нас замуж вышла, знаете ли. За немца. В Германию к нему жить уехала, в Нюрнберг...

– Ничего себе... Значит, вы тут с больной бабкой справляйтесь как хотите, а она там жить будет, припеваючи?

– Да она и не знает ничего про бабушку...

– Как это?

– Да долго рассказывать, Вениамин Алексеевич. Да и не хочется...

– А, ну ладно. И не рассказывайте. Моя-то молодая тоже ведь меня выгнала... Тоже замуж выскочила, и имущество у меня все отсудила! Я ж, старый дурак, в свое время трясся над ней да ублажал всячески, вот и задаривал подарками...

Василиса вдруг вспомнила эту грустную его историю, рассказанную давно еще бабушкой. Вообще с Вениамином Алексеевичем, тогда еще Веней, познакомила сына именно она, бабушка, – он был мужем ее любимой подруги Любочки, с которой они дружили семьями, тогда еще и дедушка жив был, известный профессор-историк... И непросто познакомила, а сделала Вене в некотором роде даже протекцию – попросила сына взять его в свою фирму. И Веня быстро в фирме прижился, и работал старательно и честно, и вскоре стал действительно правой рукой хозяина; они даже, несмотря на большую разницу в возрасте и разные представления о жизни и своем в ней месте, приятельствовали очень неплохо, и тоже семьями пытались дружить. Только вот Олег был женат на Аллочке, молодом и ангельски-красивом создании, а Веня – на Любочке, которая с огромным трудом вписывалась в это их приятельство. Вернее, совсем не вписывалась.

Тем более что молодая Аллочка умудрилась к тому времени завести двоих уже деток, а у них с Любочкой детей не было. Да и вообще – их даже и рядом ну никак, никак нельзя было поставить: такая красавица Аллочка и такая честно и безупречно стареющая Любочка... Вот тогда Веня и решил от Любочки уйти. Как ни убеждал его Олег, что делать этого в его возрасте уже как бы и нельзя, и еще всяческие разные и мудрые доводы приводил, – все равно Веня ушел. И тоже женился на юной и небесной красоте, на черноглазой и смуглокожей прелестнице Наточке, которая осчастливила его совсем уж окончательно – сыночка родила долгожданного. Правда, быстро как-то очень уж родила, но Вениамин Алексеевич, от такого счастья вмиг и напрочь потерявши голову, пальцев своих подозрительно не загибал, месяцы да сроки никакие не высчитывал. Не хотелось ему ни о чем таком думать, потому что чего на судьбу пенять – она ж к нему не только лицом, а всем своим корпусом повернулась – и достаток большой через щедрость да дружбу Олегову дала, и счастье с молодой женой, и даже вот ребеночка... А бедной Ольге Андреевне пришлось перед Любочкой только руками развести виновато: выходит, сама она сосватала ее мужа в другую жизнь... Раздружились они тогда быстро, конечно. Вернее, Любочка раздружилась. Так и жила с тех пор одна...

– Как это она вас выгнала, Вениамин Алексеевич? – грустно переспросила его Василиса. – Неужели тетя Наташа смогла это сделать?

– Да, смогла вот. Говорю же, я в те времена через дарственные всю нашу недвижимость на нее оформил. А она, как оказалось, и не любила меня вовсе. Только ради этих красивых бумажек гербовых со мной и жила. А когда все кончилось, взяла и выбросила меня за дверь, как ненужную вещь какую. А Любочка меня обратно приняла... Живем вот теперь с ней в бедности, на одну только пенсию. Она меня и кормит, и обхаживает. Святая она, Любочка моя. Так вот оказалось. А Наташа мне и с сыном видаться не дает, и его против меня настраивает. Говорит, будто и не мой он вовсе. И как только у нее язык поворачивается на такое, а? Не мой, главное... Ты помнишь моего Димку-то, Василиса?

– Помню...

Конечно же, она помнила этого красивого и избалованного паренька – он был чуть помладше ее брата. И помнила, как тогда все взрослые носились над ним и дыхнуть боялись в его сторону – вечно у него проблемы какие-то были. То ему школу хорошую не могли подобрать, то учителей домашних отыскать. Вениамин Алексеевич очень старался быть лучшим отцом...

– Я вот недавно увидел его на улице, а он даже и поговорить со мной не захотел. Спросил только, есть ли у меня деньги, и все... А откуда они у меня, деньги эти? Без денег ничего я для них не значу, выходит... Я вот все думаю, Василиса, а если б послушался меня тогда твой отец да не стал бы со своей гусарской честью вперед бабки в пекло выпя-

чиваться, то, может, и не случилось бы тогда трагедии такой, а? И я бы при деле был, и Наташа моя со мной, и сын... А?

– Прекратите немедленно, Вениамин Алексеевич! – тихо и вежливо, но очень твердо произнесла Василиса. Она и сама слышала, как прозвучало в этот момент в ее голосе что-то хоть и вежливое, но очень тяжелое, железобетонное почти: – Вы же сюда поминать его пришли, вот и поминайте добрым словом...

– Ну да, ну да... – торопливо закивал Вениамин Алексеевич. – Конечно... Ну и характерец у тебя, девушка, весь отцовский... Как скажешь чего – прям мороз по коже...

– Скажите мне лучше, за что его убили? А то все вокруг да около... Их же, киллеров этих, так и не нашли тогда. Это правда, что у отца долги большие были? Вы же наверняка знаете, вы же у него в фирме всеми финансами занимались. Откуда они взялись-то, долги эти?

– Ох, и умные ты вопросы задаешь, девушка... Молоко на губах не обсохло, а туда же – обвинять... Финансами занимался...

– Ой, да что вы! Кто ж вас обвиняет-то? Я же просто про долги спросила! Так были или нет?

– Нет, Василиса, не было никаких таких долгов, липа все это, – немного подумав и будто на что-то решившись, тихо ответил Вениамин Алексеевич. – И бумаги заемные, на отца вашего оформленные, тоже липой были. Сейчас же просто очень бумагу такую нарисовать да печатей-штампов на ней

наставить, да подписью купленного нотариуса скрепить... А долгов никаких не было, это точно...

– А почему вы тогда молчали, Вениамин Алексеевич, если все знали? Если не было никаких долгов, значит, и у нас зря все отобрали...

– Да боялся я, Васенька. Вот презирай да режь меня теперь, но боялся. И не за себя даже, а за Наташеньку свою да за сыночка ненаглядного... Да если б я чего сделал по-другому, и они бы тоже, как вы, ни с чем остались, и меня бы тоже теперь не было... Потому и бумаги подписал нехорошие всякие...

– Потому и на похороны отцовские не пришли?

– Потому и не пришел. Вот сейчас только и осмелился к нему зайти да прощения попросить. А жизнь меня и без того наказала, и так все отобрала. И имущество, и жену молодую, и сына... Так что не суди меня строго, Василиса. И ты, Петро, не суди...

– Да мы и не судим, – поглядев сначала на Василису, словно ища у нее одобрения, махнул рукой Петька. – А только и вы больше про папу не говорите, что честность и порядочность – это плохо!

– Так я, Петро, это не про папу твоего говорил, а про бизнес наш, который честность эту не любит. Нельзя с ней в бизнес идти, с честностью-то. Нельзя. Все равно сломают и под свою дудку плясать заставят...

– А я считаю, что можно. И нужно даже. И обязательно

именно с честностью и порядочностью нужно туда идти! А иначе ничего и не изменится никогда... – решительно произнесла вдруг Василиса.

– Ну, мала ты еще, Василисушка, потому и рассуждаешь так. Вся в отца своего пошла. И он вот, помню, теми же словами говорил...

– А мала – так повзрослею! Подумаешь, недостаток! Он, недостаток этот, сам по себе с годами исправляется! И никто меня не сломает, и под дудку свою плясать не заставит!

– Ну-ну... – усмехнулся, грустно на нее глядя, Вениамин Алексеевич. – Что ж, дай тебе бог! Расступитесь все, Василиса Барзинская за отца своего отомстить идет...

– Нет, не буду я никому мстить, что вы. Я просто работать буду. Так же, как мой отец. И все.

– Ну что ж, молодец... Может, и правда, получится у тебя что. Олег всегда говорил, что ты девка с характером. Он вас вообще очень любил...

– Да мы знаем, дядя Веня. Потому и не пропадем. Ни я, ни Василиса. И все у нас будет хорошо! – стараясь подражать уверенному Василисиному голосу, проговорил Петька и посмотрел на него так же, как сестра, сверху вниз, снисходительно и будто жалеючи.

Словно почувствовав чего в этом его голосе, Вениамин Алексеевич поднялся со своего места и суетливо начал собираться. Привернув горлышко водочной бутылки покрепче пробкой, бережно поставил ее в неказистую тряпичную ко-

томку, одним разом свернул в газетку и оставшуюся на ней снедь. Выпрямившись во весь рост, проговорил виновато:

– И то, чего это я с вами тут засиделся... Вы ж не со мной разговоры разговаривать пришли, вы ж к отцу своему пришли...

Поклонившись низко могиле и трижды перекрестившись, он побрел потихоньку между такими же мраморными плитами, согнувшись в спине и низко опустив голову. У Василисы аж сердце дрогнуло вдруг от жалости – старик и старик идет, сам себя наказавший...

Они долго еще стояли у могильный плиты, разговаривали молча с отцом. Каждый о своем, правда. Но даже в мысленных этих разговорах не смели жаловаться. Не любил отец этого. Всегда говорил – только начни на жизнь жаловаться, она тебе тут же еще большего тычка под бок даст... Да и чего на нее и жаловаться вообще, если все у них хорошо? Оба живы, оба здоровы, и у бабушки динамика непременно наступит, надо только ждать и терпеть, ждать и терпеть...

Уже сидя в трясущемся автобусе, Василиса вдруг повернула голову к сидящему у окошка брату и попросила тихо:

– Петь, а давай бабушке не будем рассказывать про Вениамина, а? Ну, про то, что долгов у отца никаких не было, что документы все липовые были... Она ж изводиться начнет сразу – выходит, ее тогда обманули просто. Зачем ее волновать? Лерочка Сергеевна говорила, нельзя ей никаких стрессов эмоциональных переносить да нервную систему на-

прыгать, а то динамики не будет...

– Ага, давай...

А Ольга Андреевна, проводив внуков к сыну на кладбище, решила наплакаться себе вволю. Обязательно ей нужно было выплакать неизбывное чувство вины перед ними, которое грызло и грызло ее душу и не отпускало никак. О том, что никаких таких долгов у погибшего сына не было и о чем решили перемолчать сейчас Петька с Василисой, она догадалась еще тогда, когда, подписав все бумаги, они переехали в эту старую квартиру. Задним числом догадалась. А когда подписывала – отчета себе вообще не отдавала в том, что творит, потому как выиграло тогда в ней подхлестнутое горем самолюбие и заволокло черным туманом голову. Надо было по судам бежать с бумагами теми липовыми, которые ей подсунули невесть откуда взявшиеся Олеговы кредиторы, а у нее вдруг выиграло. Решила она почему-то, что честь сына таким образом защищает. И фамильную честь семьи тоже. Вот же, совсем от горя поглупела...

А когда здесь, в квартире этой оказалась с двумя внуками на руках и практически без средств к существованию, тогда только и поняла, что с ними, с внуками своими, сотворила. И ужаснулась, и начала ее душу грызть эта вина перед ними, потому и insult быстренько подкрался, верный этой вины спутник, и прошелся по ней так безысходно-несправедливо. Это они, Петечка с Василисой, думают, что бегство их матери так ее подкосило, а на самом деле все совсем, совсем не

так. На Аллочку Ольга Андреевна обижалась, конечно, но не трагически, а снисходительно и второстепенно как-то. Она ее вообще никогда всерьез не воспринимала, Аллочку эту. Мирилась с ней просто. Уважала сыновнее к ней чувство. У них, у Барзинских, эта черта вообще семейной была – чувства друг друга уважать, какими бы они ни были. И еще – честь семейную беречь, и не врать ни себе, ни другим, и родом своим древним гордиться...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.